

выбрал Византий незадолго до открытия Юстинианом собора Святой Софии и после закрытия академии Платона. Думаю, я бы сумел отыскать в каком-нибудь кабачке мастера-мозаичиста с философским складом ума, который ответил бы на все мои вопросы о сверхъестественном лучше самого Плотина, ибо то, что безумит толпу, а князьям и клиру служит инструментом власти, он, в гордости своего мастерства, познает, как прекрасную, гибкую явь, наподобие совершенного человеческого тела” [11, с. 279].

Во втором стихотворении “Византия” (“Byzantium”, 1930) поэт уже приплыл туда, куда стремился, и что же? Все оказалось совсем не так, как в мечтах; вместо уютного кабачка он попадает на ночные страшные улицы, вместо мудрого художника-собутельника перед ним – какая-то неотвязная жуткая тень, вроде мертвеца или мумии.

### BYZANTIUM

The unpurged images of day recede;  
The Emperor’s drunken soldiery are abed;  
Night resonance recedes, night-walkers’ song  
After great cathedral gong;  
A starlit or a moonlit dome disdains  
All that man is,  
All mere complexities,  
The fury and the mire of human veins.

Before me float an image, man or shade,  
Shade more than man, more image than a shade;  
For Hades’ bobbin bound in mummy-cloth  
May unwind the winding path;  
A mouth that has no moisture and no breath  
Breathless mouths may summon;  
I hail the superhuman;  
I call it death-in-life and life-in-death.

Miracle, bird or golden handiwork,  
More miracle than bird or handiwork,  
Planted on the star-lit golden bough,  
Can like the cocks of Hades crow,  
Or, by the moon embittered, scorn aloud  
In glory of changeless metal  
Common bird or petal  
And all complexities of mire and blood.

At midnight on the Emperor’s pavement flit  
Flames that no faggot feeds, nor steel has lit,  
Nor storm disturbs, flames begotten of flame,  
Where blood-begotten spirits come  
And all complexities of fury leave,

Dying into dance,  
A agony of trance,  
An agony of flame that cannot singe a sleeve.

Astraddle on the dolphin’s mire and blood,  
Spirit after spirit! The smithies break the flood,  
The golden smithies of the Emperor!  
Marbles of the dancing floor  
Break bitter furies of complexity,  
Those images that yet  
Fresh images beget,  
That dolphin-torn, that gong-tormented sea.

[Отступают неочищенные образы дня; пьяная солдатня Императора спит; стихает ночной шум, песня ночных гуляк после удара большого кафедрального гонга; освещенный звездами или лунной купол презирает все человеческое, весь этот хаос, ярость и грязь человеческих вен.

Предо мной плывет образ, человек или тень, скорее тень, чем человек, скорее образ, чем тень; ибо кокон Аида, замотанный в погребальную ткань, может распутать вьющуюся тропу; рот, лишенный слюны и дыхания, может сзывать бездыханные рты; я окликаю это сверхъестественное существо, я зову его смерть-в-жизни и жизнь-в-смерти.

Чудо, птица, или золотое изделие, скорее чудо, чем птица или изделие рук, усевшись на золотой ветке, может прокукарекать, как петухи Аида, или, раздраженное луной, громко презирать, в славе своего нетленного металла, обычных птиц, обычные цветы и весь этот хаос грязи и крови.

В полночь на плитах императорского дворца пляшут языки огня, без хвороста горящие, без кресала зажженные, не колеблемые бурей, – пламя, зачатое от пламени, и собираются призраки, зачатые от крови, и весь этот яростный хаос исчезает, отмирает в танце, в агонии транса, в агонии пламени, который не может опалить рукава.

Верхом на дельфинах, из грязи и крови, призраком за призраком, они разрезают волны, златокузнецы Императора! Мраморные плиты на отшлифованном танцем полу отбивают яростные налеты темного хаоса, – эти образы, порождающие новые образы, это распоротое дельфинами, терзаемое гонгом море.]

Судя по последней строфе, стихотворение можно было бы назвать “Бегством из Византии”. И эта страна оказалась “не для старых”. Поэт, надевшийся найти в ней гармонию искусства и общества, убедился, что никакой гармонии нет, и он бросается вместе со своими собратями-мастера-